

ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ

УДК 304.2

Г.В. Хлебников

**«ПОРТРЕТ» РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.:
ПО МАТЕРИАЛАМ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
З.Н. ГИППИУС. ЧАСТЬ 2**

*Институт научной информации по общественным наукам РАН
Москва, Россия, gwvoloshin@gmail.com*

Рассматриваются и соотносятся эксплицитные и имплицитные мотивы публикаций дневниковых и блокнотных записей З.Н. Гиппиус, некоторые приемы артикуляции материала, неявные и явные интенции текста.

Ключевые слова: революция; война; солдаты; власть; русские; немцы; геноцид; этнопсихология; скрытые смыслы.

Поступила: 10.03.2017

Принята к печати: 22.03.2017

G.V. Khlebnikov

**«Portrait» of the 1917 revolution:
Research based on Zinaida Gippius's dairies. Part 2**

*Institute of scientific information for social sciences
of Russian academy of sciences
Moscow, Russia, gwvoloshin@gmail.com*

We examined and correlated explicit and implicit motives publications Diary and notepad records Z.N. Gippius, unobvious and ostensible intentions of the text.

Keywords: the revolution; the war; soldiers; power; Russians; Germans; genocide; ethnopyschology; hidden meanings.

Received: 10.03.2017

Accepted: 22.03.2017

Часть 2

В «Черной книжке» описывается процесс дальнейшего разложения, ограбления и уничтожения поработанного народа, предназначенного якобы для того, чтобы разжечь мировую революцию с целью победы «пролетариата» на всей планете. А дальше, без сомнения, настал бы черед других – пример уже был описан и дан в талантливо написанном романе А. Толстова «Аэлита» (1922), в котором бывший солдат и махновец Гусев летит на Марс и там тоже делает социальную революцию, освобождая «простых» марсиан из-под власти местной интеллектуально-политической элиты и ее многочисленных защитников. Дальше, несомненно, настала бы очередь звезд, звездных скоплений, всей галактики «Млечный путь» и т.д. Все более высокая будущая мегацель-сверхценность каждый раз с лихвой оправдывала бы в настоящем гибель какого угодно числа мыслящих существ, народов, планет, звездных систем, галактик и т.п.

Ценно свидетельство об обысках, которым раз за разом подвергались все жители города: «1919 г. Июнь. С.П.Б. <...> Если ночью горит электричество – значит, в этом районе обыски. У нас уже было два. Оцепляют дом и ходят целую ночь, толпясь, по квартирам. В первый раз обыском заведовал какой-то “товарищ Савин”, подслеповатый, одетый как рабочий. Сопровождающий обыск друг (ужасно он похож, без воротничка, на большую, худую, печальную птицу) шепнул “товарищу”, что тут, мол, писатели, какое у них оружие! Савин слегка ковырнул мои бумаги и спросил: участвую ли я теперь в периодических изданиях? На мой отрицательный ответ ничего, однако, не сказал. Куча баб в платках (новые сыщицы-коммунистки) интересовались больше содержимым моих шкафов. Шептались. В то время мы только что начинали продажу, и бабы явно были недовольны, что шкаф не пуст. Однако обошлось. Наш друг ходил по пятам каждой бабы. На втором обыске женщин не было. Зато дети. Мальчик лет девяти на вид, шустрый и любопытный, усердно рылся в комодах и в письменном столе Дм. Серг. Но в комодах с особенным вкусом. Этот, наверное, “коммунист”. При каком еще строе, кроме коммунистического, удалось бы юному государственному деятелю полазить по чужим ящикам! А тут – открывай любой. – “Ведь подумайте, ведь они детей развращают! Детей! Ведь я на этого мальчика без стыда и

жалости смотреть не мог!” – вопил бедный И.И. в негодовании на другой день». Днем не лучше: «Яркое солнце, высокая ограда С. собора. На каменной приступочке сидит дама в трауре. Сидит бессильно, как-то вся опустившись. Вдруг тихо, мучительно протянула руку. Не на хлеб попросила – куда! Кто теперь в состоянии подать “на хлеб”. На воблу. Холеры еще нет. Есть дизентерия. И растет. С тех пор как выключили все телефоны – мы почти не сообщаемся. Не знаем, кто болен, кто жив, кто умер. Трудно знать друг о друге – а увидаться еще труднее».

Не все выдерживают давление угрозой голодной смерти, физический и моральный террор, перенесенный, к тому же, с улиц в индивидуальные жилища. Однако есть и другие измены, еще горше предательства бывших хороших знакомых и друзей, по разным причинам перешедшим к большевикам: «Еще одного надо записать в синодик. Передался большевикам А.Ф. Кони. Известный всему Петербургу сенатор Кони, писатель и лектор, хромым, 75-летний старец. За пролетку и крупу решил “служить пролетариату”. Написал об этом “самому” Луначарскому. Тот бросился читать письмо всюду: “Товарищи, А.Ф. Кони – наш! Вот его письмо”. Уже объявлены какие-то лекции Кони – красноармейцам. Самое жалкое – это что он, кажется, не очень и нуждался. Дима (Д.В. Философов) не так давно был у него. Зачем же это на старости лет? Крупы будет больше, будут за ним на лекции пролетку посылать, – но ведь стыдно!

С Москвой, жаль, почти нет сообщений. А то бы достать книжку Брюсова “Почему я стал коммунистом”. Он теперь, говорят, важная шишка у большевиков. Общий цензор. (Издавна злоупотребляет наркотиками). Валерий Брюсов – один из наших “больших талантов”. Поэт “конца века”, – их когда-то называли “декадентами”. Мы с ним были всю жизнь очень хороши, хотя дружить так, как я дружила с Блоком и с Белым, с ним было трудно. Не больно ли, что как раз эти двое последних, лучшие, кажется, из поэтов и личные мои долголетние друзья, – чуть не первыми пришли к большевикам? Впрочем, – какой большевик – Блок! Он и вертится где-то около, в левых эсерах. Он и А. Белый – это просто “потерянные дети”, ничего не понимающие, аполитичные отныне и до века. Блок и сам как-то соглашался, что он “потерянное дитя”, не больше. У старика Е., интеллигентного либерала, больного, сам приехал смотреть остатки китайского фарфора. И как торговался!

Квартира Горького имеет вид музея – или лавки старьевщика, пожалуй: ведь горька участь Горького тут, мало он понимает в “предметах искусства”, несмотря на всю охоту смертную. Часами сидит, перетирает эмали, любитесь приобретенным... и, верно, думает бедняжка, что это страшно “культурно!”. В последнее время стал скупать и порнографические альбомы. Но и в них ничего не понимает. Мне говорил один антиквар-библиотекарь, с невинной досадой: “...заплатил Горький за один альбом такой 10 тысяч, а он и пяти не стоит!” Кроме альбомов и эмалей, Зиновий Гржебин поставляет Горькому и царские сторублевки. И.И. случайно натолкнулся на Гржебина в передней Горького с целым узлом таких сторублевок, завязанных в платок».

Писательница фиксирует зверства на улицах, где убивают, уже не глядя, даже детей. Расстрелы тех, кто не стал сотрудничать с новой властью, а также – с угрозами – насильственную запись в компартию упоминает жертв эпидемии, которых нечем лечить.

«Сегодня избивали на Мальцевском. Убили 12-летнюю девочку. (Сами даже, говорят, смутились.) Чем объяснить эти облавы? Разве любовью к искусству, главным образом. Через час после избиений те же люди на тех же местах снова торгуют тем же. Да и как иначе? Кто бы остался в живых, если б не торговали они – вопреки избиениям? Косит дизентерия.

Т. (моя сестра) лежит третью неделю. Страшная, желтая, худая. Лекарств нет. Соли нет. Почти насильно записывают в партию коммунистов. Открыто устрашают: “...а если кто...” Дураки – боятся...

Арестованная (по доносу домового комитета, из-за созвучия фамилий) и через три недели выпущенная, Ел. (близкий нам человек) рассказывает, между прочим. Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек 10–11 в день. Выводят на двор, комендант, с папироской в зубах, считает, – уводят. При Ел. этот комендант (коменданты все из последних низов), проходя мимо тут же стоящих, помертвевших жен, шутил: “...вот, вы теперь молодая вдовушка! Да не жалейте, ваш муж мерзавец был! В красной армии служить не хотел”».

Отдельно приводит факты чудовищной жестокости, скапливания большевиками тел убитых и расстрелянных людей животным, чем, вероятно, «воспитывают» в исполнителях своих приказов особую бесчувственность и первобытную жестокость: «Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его

и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались – дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во “Всеовуч” (всеобщее военное обучение). Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары!): “А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили!” Зверей Зоологического сада, еще не подошедших, кормят свежими трупами расстрелянных, благо Петропавловская крепость близко, – это всем известно. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше. Объявление так подействовало на мальчика, что он четвертый день лежит в бреду. (Имя комиссара я знаю.) Надо помнить, что сейчас в СПб-ге, при абсолютном отсутствии одних вещей и скудости других, есть нечто в изобилии: трупы. Оставим расстрелянных. Но и смертность в городе, по скромной большевистской статистике (пети́том), – 6,5% при 1,2% рождений. Не забудем, что это большевистская, официальная статистика...».

Зинаида Николаевна рассказывает и о лишениях, голоде, порче и тех труднодоступных и невероятно дорогих продуктов, которые еще где-то можно купить. Для сравнения приводит данные о голоде среди крестьян в 1840 г., которые тогда получали по 1,2 кг в день хлеба на каждого, тогда как теперь выдают всего лишь по 50 г – и какого! – (фунт в исторической России равен 400 г):

«Фунт чаю стоит 1200 р. Мы его давно уже не пьем. Сушим ломтики морковки или свеклы – что есть. И завариваем. Ничего. Хорошо бы листьев, да какие-то грязные деревья в Таврическом саду, и Бог их знает, может, неподходящие. В гречневой крупе (достаем иногда на рынке – 300 р. фунт), в каше-размазне – гвозди. Небольшие, но их очень много. При варке няня вчера вынула 12. Из рта мы их продолжаем вынимать. Я только сейчас, вечером, в трех ложках нашла два, тоже из рта уже вынула. Верно, для тяжести прибавляют. Но для чего в хлеб прибавляют толченное стекло – не могу угадать. Такой хлеб прислали Злобиным из Москвы их знакомые – с оказией.

Читаю рассказ Лескова “Юдоль”. Это о голоде в 1840-м году в средней России. Наше положение очень напоминает положение крепостных в имении Орловской губернии. Так же должны были они умирать на месте, лишенные прав, лишенные и права отлучки. Разница: их “Юдоль” длилась всего 10 месяцев. И еще: дворовым крепостным выдавали помещики на день не 1/8 хлеба, а

целых три фунта! Три фунта хлеба. Даже как-то не верится. Сыпной тиф, дизентерия – продолжают. Холодные дни, дожди. Сегодня было холодное солнце.

Принудительная война, которую ведет наша кучка захватчиков, еще тем противнее обыкновенной, что представляет из себя “дурную бесконечность” и развращает данное поколение в корне – создает из мужика “вечного” армейца, праздного авантюриста. Кто не воюет или пока не воюет, торгует (и ворует, конечно). Не работает никто. Воистину “торгово-продажная” республика, защищаемая одурелыми солдатами – рабами.

Гиппиус видит на улице, как маленькая, четырехлетняя девочка колотит «ручонками упавшую с разрушенного дома старую вывеску. Вместо дома среди досок, балок и кирпича – возвышалась только изразцовая печка. А на валявшейся вывеске были превкусно нарисованы яблоки, варенье, сахар и – булки! Целая гора булок! Я наклонилась над девочкой. – За что же ты бьешь такие славные вещи? – В руки не дается! В руки не дается! с плачем повторяла девочка, продолжая колотить и топтать босыми ножками заколдованное варенье».

Коррупция и злоупотребления таковы, что наиболее одиозные фигуры даже расстреливаются в ЧК, на расстрелы не помогают. Поднимающиеся крестьянские восстания безжалостно подавляются (куда там царю до большевиков!) карательными отрядами:

«Чрезвычайку обновили. Старых расстреляли, кое-кого. Но воров и шантажисты все. Живем буквально на то, что продаем, изо дня в день. Все дорожает в геометрической прогрессии, ибо рынки громят систематически. И, кажется, уже не столько принципиально, сколько утилитарно: нечем красноармейцев кормить. Обывательское продовольствие жадно забирается. С. говорит, что на Волге – непрерывные крестьянские восстания. Карательные отряды поджигают деревни, расстреливают крестьян по 600 человек зараз».

О предательстве «союзников»: Гиппиус не сомневается – теперь известно, что она не ошибалась, подозревая европейские державы, союзников России, в чем-то вроде заговора с захватчиками-большевиками (она так их и называет в своих записях: «кучкой захватчиков»), в нежелании помочь легитимным правительственным силам справиться со смутой, с заговором государственных преступников:

«Здесь, сверху донизу, до последнего мальчишки, знаем (и большевики тоже!), что сейчас одно лишь так называемое “вмешательство” может быть толчком, изменяющим наше положение. Вмешательство! “Вмешательство во внутренние дела России”! Мы хохочем до слез – истерических, трагических, правда, – когда читаем эту фразу в большевистских газетах. И большевики хохочут – над Европой, – когда пишут эти слова. Знают, каких она слов боится. Они и не скрывают, что рассчитывают на старость, глухоту, слепоту Европы, на страх ее перед традиционными словами. В самом деле, каким “вмешательством” в какие “внутренние дела” какой “России” была бы стрельба нескольких английских крейсеров по Кронштадту? Матросы, скучающие, что “никто их не берет”, сдались бы мгновенно, а петербургские большевики убежали бы еще раньше. (У них автомобили всегда наготове.) Но, конечно, все это лишь в том случае, если бы несомненно было, что стреляют “англичане”, “союзники”. (Так знают все, что самый легкий толчок “оттуда” – дело решающее.) О, эта пресловутая “интервенция”! Хоть бы раньше, чем произносить это слово, европейцы полюбострадали взглянуть, что происходит с Россией. А происходит приблизительно то, что было после битвы при Калке: татары положили на русские доски, сели на доски – и пируют. Не ясно ли, что свободным, не связанным еще, – надо (и легко) столкнуть татар с досок. И отнюдь, отнюдь не из “сострадания” – а в собственных интересах, самых насущных! Ибо эти новые татары такого сорта, что чем дольше они пируют, тем грознее опасность для соседей попасть под те же доски».

Все другие виды «помощи» из-за рубежа идут не на пользу населению и стране, а на усиление власти кровавой диктатуры, только прикрывающейся именем «рабочего класса и крестьянства»:

«Учсть последствия этого невозможно, однако в общих чертах они для нас, отсюда, очень ясны. Первый результат – усиление и укрепление красной армии. Ведь все, что получают большевики из Европы (причем глупой Европе они не дадут ничего – у них нет ничего), – все это пойдет комиссарам и красной армии. Ни одна кроха не достанется населению (да на что большевикам население?). Пожалуй, красноармейцы будут спекулировать на излишках – только. Слабое место большевиков – возможность голодных бунтов в армии. Это будет устранено... Ожидаются новые обыски.

Вещевые, для армии. Обещают брать все, до занавесей и мебельной обивки включительно.

Сегодня (30 авг. нов. стиля) – теплый, влажный день. С утра часов до 2–3 далекая канонада. Опять, верно, вялые английские шалости. *Sonni et vit!* (Знакомо и видно (франц.)). В московской газете довольно паническая статья “Теперь или никогда!”, опять об “окровавленной морде” Антанты, собирающейся будто бы лезть в Петербург. Новых фактов никаких. Букет старых. Здешняя наша “Правда” – прорвалась правдой (это случается). Делаю вырезку, с пометкой числа и года (30 августа 19 г. СПб) и кладу в дневник. Пусть лежит на память.

Вот эта вырезка дословно, с орфографией:

Рабочая масса к большевизму относится несочувственно, и когда приезжает оратор или созывается общее собрание, то рабочие прячутся по углам и всячески отлынивают. Такое отношение очень прискорбно. Пора одуматься.

Нет, видно ясны большевистские небеса. Мария Федоровна (каботинка, “жена” Горького) – не только перестала “заручаться”, но даже внезапно сделалась уже не одним министром “всех театров”, а также и министром “торговли и промышленности”. Объявила сегодня об этом запросто И. И-чу. Положим, не хлопотно: “промышленности” никакой нет, а торгуют всем, чем ни попадя, и министру надо лишь этих всех “разгонять” (или хоть “делать вид”).

Будто бы арестовали в виде заложников Станиславского и Немировича (директора известного Художественного театра в Москве). Маловероятно, хотя Лилина (жена Станиславского) и Качалов – играют в Харькове и, говорят, очень радостно встретили Деникина. Были слухи, что Станиславский бывает в Кремле, как придворный увеселитель нового самодержца – Ленина, однако и этому я не очень верю. Мы так мало знаем о Москве».

Завоеватели заполняют административные должности не только своими сторонниками, но и случайными людьми, очередными любовницами, чувствуя себя безнаказанными и никому не подвластными властителями огромной страны и ее государственного аппарата:

«...Но для Луначарского нет и этих законов. Да и в самом деле: он устал быть “вне” литературы. Большевистские штыки позволяют ему если не быть, то казаться в самом сердце русской литературы. И он упустит такой случай? Устроил себе, в звании ли-

тературного (всероссийского) комиссара, и “Дворец искусств”. Новую свою “цыпочку”, красивую Р., поставил... комиссаром над всеми цирками. Придумал это потому, что она вообще малограмотна, а любит только лошадей. (Старые жены министров большевистских чаще всего – отставлены. Даны им разные места, чтоб заняты были, а министры берут себе “цыпочек”, которым уже даются места поближе и поважнее.) У Луначарского, в бытность его в Петербурге, уже была местная “цыпочка”, какая-то актриска из кафе-шантана. И вдруг (рассказывает Х) – является теперь в Москву – с ребеночком. Но министр искусств не потерялся, тотчас откупился, ассигновал ей из народных сумм полтора миллиона (по царски, знай наших!) – “на детский театр”. Любопытная это, вообще, штука – “красные дети”. Большевики всю решили их для себя “использовать”. Ни на что не налепили столь пышной вывески, как на несчастных совдепских детей. Нет таких громких слов, каких не произносили бы большевики тут, выхваляя себя. Мы-то знаем им цену и только тихо удивляемся, что есть в “Европах” дураки, которые им верят».

Зинаида Николаевна откровенно пишет и о тех противоположных конвенциональным и гуманным названиям трагических реалий, которые реально стоят за привычными именами «школ», «приютов», «общественных столовых», «бесплатного питания» и т.п.:

«Бесплатное питание! Это матери, едва стоящие на ногах, должны водить детей в “общественные столовые”, где дают ребенку тарелку воды, часто недокипяченой, с одиноко плавающим листом чего-то. Это посылаемые в школы “жмыхи”, из-за которых дети дерутся, как звереныши.

Всеобщее бесплатное обучение! Приюты! Школы! – Много бы могла я тут рассказать, ибо имею ежедневную, самую детальную информацию изнутри. Но я ограничусь выводом: это целое поколение русское, погибшее духовно и телесно. Счастье для тех, кто не выживет...

Кстати, недавно Горький “лаял” в интимном кругу, что “это черт знает, что в школах делается”... И действительно, средняя школа, преобразованная в одну “нормальную” советскую школу, т.е. заведение для обоих полов, сделалась странным заведением... Женские гимназии, институты соединили с кадетскими корпусами, туда же подбавили 14–15-летних мальцов прямо с улицы, всего

повидавших... В гимназиях, по словам Горького тоже, есть уже беременные девочки 4-го класса... В “этом” красным детям дается полная “свобода”. Но в остальном требуется самое строгое “коммунистическое” воспитание. Уже с девяти лет мальчика выпускают говорить на митинге, учат “агитации” и защите “советской власти”. (Очевидно, более способных готовят и к действию в Чрезвычайке. Берут на обыски – это “практические занятия”).

Впрочем, все они были бы только смешны и глупы, если бы глупость не смешивалась с кровью. Кровавая глупость! Ладно, в свое время за нее ответят.

24 (11) сентября. Вчера объявление о 67-ти расстрелянных в Москве (профессора, общественные деятели, женщины). Сегодня о 29 – здесь. О мирных переговорах с Эстляндией, прерванных, но готовящихся будто бы возобновиться, – ничего не знаем, не понимаем, не можем и нельзя ничего себе представить. Деникин взял, после Киева, Курск. Троцкий гремит о победах. Ощущение тьмы и ямы. Тихого умопомешательства... Ощущение связи событий среди этой трагической нелепости. Большевицкие деньги падают с головокружительной быстротой, их отвергают даже в пригородах. Здесь – черный хлеб с соломой уже 180–200 р. фунт. Молоко давно 50 р. кружка (по случаю). Или больше? Не уловишь, цены растут буквально всякий час. Да и нет ничего.

При этом идеологическая обработка сознания идет интенсивно и непрерывно не только митингами, выступлениями, лекциями – новой коммунистической прессой выбираются наиболее агрессивные и эмоциональные термины, воздействующие на глубинные механизмы психики, хотя их ежедневное повторение уже и не оказывает того действия, которого ожидают авторы, – слишком велико расстояние между делами и происходящим, фактами:

«Мы так давно живем среди потока слов (официальных) – “раздавить”, “залить кровью”, “заколотить в могилу” и т.д. и т.п., что каждодневное печатное повторение непечатной ругани этой – уже не действует, кажется старческим шамканьем. Теперь все заклипания “додавить” и “разгромить” направлены на Деникина, ибо он после Курска взял Воронеж (и Орел – по слухам). Абсурдно-преступное поведение Антанты (Англии?) продолжается. На свою же голову, конечно, да нам от этого не легче.

Понять по-прежнему ничего нельзя. Закрыли заводы, выкинули 10 тысяч рабочих. Льготы – месяц. Рабочие покорились, как все-

гда. Они не думают вперед (я заметила эту черту некультурных “масс”), льготный месяц на то и дается, уедут по деревням. (“Чего – там, что еще будет через месяц, а пока – езжай до дому!”)»

Из записей З.Н. Гиппиус становится также понятно, зачем в том числе производилась и принудительная запись в члены партии: чтобы тут же направить на фронты гражданской войны еще тысячи и тысячи «защитников» новой тирании:

«Здесь большевики организовали принудительную запись – в свою партию (не всегда закрывают принудительность даже легким флером). Снарядили, как они выражаются, “пару тысяч коммунистов на южный фронт”, чтобы “через какую-нибудь пару недель” догромить Деникина. (Это не я сблизжаю эти “пары”, это так точно пишут наши “советские” журналисты.)»

Обыски по квартирам продолжаются, становясь все маскараднее и нелепее, новая власть стремится вовлечь в свои беззакония как можно больше людей, неважно, кого: «15 (2) октября. – Ну вот, и в четвертый раз высекли! – говорит Дмитрий в пять часов утра, после вчерашнего, нового, обыска. Я с убеждением возражаю, что это неверно; это опять гоголевская унтер-офицерская вдова “сама себя высекла”. Очень хороша была плотная баба в белой кофте с засученными рукавами и с басом (несомненная прачка), рывшаяся в письменном столе Дмитрия. Она вынимала из конвертов какие-то письма, какие-то заметки.

– А мне жилательно йету тилиграмму прочесть...

Стала приглядываться и, бормоча, разбирать старую телеграмму – из кинематографа, кажется. Другая баба, понежнее, спрашивала у меня “стремянку”.

– Что это? Какую?

– Ну лестницу, что ли... На печку посмотреть.

Я тихо ее убедила, что на печку такой вышины очень трудно влезть, что никакой у нас “стремянки” нет и никто туда никогда и не лазил. Послушалась.

У меня в кабинете так постояли, даже столов не открыли. Со мной поздоровался испитой малый и “ручку поцеловал”. Глядь – это Гессерих, один из “коренных мерзавцев нашего дома”, или, по-советски, “кормернадов”. В прошлый обыск он еще скакал по лестницам, скрываясь, как дезертир, и т.д., а нынче уже руководит обыском, как член Чрезвычайки.

Их, кормернадов, несколько; глава, конечно, Гржебин. Остальные простецкие (двое сидят). Гессерих одно время и жил у Гржебина.

Потолкались – ушли. Опять придут».

Геноцид голодом, как и неприкрытое насилие над людьми, продолжаются и только усиливаются, писательница отмечает: «Голод полнейший. Рынки расхвачены. Фунта хлеба сегодня не могли достать. Масло, когда еще было, – было 1000–1200 р. фунт.

26 (13) октября, вторник. – Рука не подымалась писать. И теперь не подымается. Заставляю себя. Вот две недели неопи-суемого кошмара. Троцкий дал приказ: “гнать” вперед красноар-мейцев (так и напечатал “гнать”), а в Петербурге копать окопы и строить баррикады. Все улицы перерыты, главным образом цен-тральные. Караванная, например. Роют обыватели, схваченные силой. Воистину ассирийское рабство! Уж как эти невольники ро-ют – другое дело. Не думаю, чтобы особенно крепки были прави-тельственные баррикады, дойди дело до уличного боя.

Но в него никто не верил. Не могло до него дойти (ведь если бы освободители могли дойти до улиц Петербурга – на них уже не было бы ни одного коммуниста!)).».

Дальше следуют записи в *Сером блокноте*: еще мрачнее и пессимистичнее, холоднее, больнее и голоднее, хотя, казалось бы, куда дальше:

«Октябрь... Ноябрь... Декабрь...

Какие-то сны... О большевиках... Что их свалили... Кто? Но-вые, странные люди. Когда? Сорок седьмого февраля...

Приготовление к могиле: глубина холода; глубина тьмы; глубина тишины.

Все на ниточке! на ниточке!

Целый день капуста. А Нева-то стала, а еще едва ноябрь (нов. стиля). А мороз 10 градусов.

“Дяденька, я боюсь!” – пищит мальчишка в Тургеневском сне “Конец света”. И вдруг: “Гляньте! Земля провалилась!”

У нас улица провалилась. Окна закрыты, затыканы чем можно. Да и нету там, за окнами, ничего. Тьма, тишина, холод, пустота.

У Л. К. после всего кошмара дифтеритного, нарывного, стрептококкового, плеврит. На Т. страшно смотреть.

Не было в истории. Все аналогии – пустое. Громадный город – самоубийца. И это на глазах Европы, которая пальцем не шевелит, не то обидиотев, не то осатанев от кровей.

Одно полено стоит 40 рублей, но достать нельзя ни одного... “под угрозой расстрела”.

Летом дни катились один за другим, кругло щелкая, словно черепа. Катились, катились – вдруг съежились, сморщились, черные, точно мороженные яблочки, – и еще скорее защелкали, катясь.

В школах температура на 0 градусов. Начальницу школы Ш. и ее мужа опять арестовали (?) Собственные ее дети режут от страха, школьные дети режут от холода».

И уже тогда – установленное сверху неравенство – многократно жестче прежнего, растущее отчуждение между людьми: «Надо помнить, что у комиссаров есть все: и дрова, и свет, и еда. И всего много, так как их самих – мало.

Горький говорил по телефону со своим “Ильичем” (как он зовет Ленина). Тот ему первое – с хохотком: “Ну что, вас еще там, в Петрограде, не взяли?”

Между нами и другими людьми теперь навеки стена и молчание. Рассказать ничего никому нельзя. Да если б и можно – не хочется. Молчание. И странный взгляд на них – сбоку: ничего не знают!»

Дефицит всего, никогда прежде не слыханная дороговизна, трупоедение, каннибализм: «Коробка спичек – 75 рублей. Дрова – 30 тысяч. Масло – три тысячи фунт. Одна свеча 400–500 р. Сахару нет уже ни за какие тысячи (равно и керосина). На Николаевской улице вчера оказалась редкость: павшая лошадь. Люди, конечно, бросились к ней. Один из публики, наиболее энергичный, устроил очередь. И последним достались уже кишки только.

А знаете, что такое “китайское мясо?” Это вот что такое: трупы расстрелянных, как известно, “Чрезвычайка” отдает зверям Зоологического сада. И у нас, и в Москве. Расстреливают же китайцы. И у нас, и в Москве. Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе – утаивают и продают под видом телятины. У нас – и в Москве. У нас – на Сенном рынке. Доктор N (имя знаю) купил “с косточкой” – узнал человечью. Понес в Ч.К. Ему там очень внушительно посоветовали не протестовать, чтобы самому не попасть на Сенную. (Все это у меня из первоисточников.)

В Москве отравилась целая семья.

А на углу Морской и Невского, в реквизированном доме, будет “Дворец искусств”. По примеру Москвы. Устраивают Максим Горький и... Прости им Бог, не хочу имен.

Трамваи иной день еще ползают, но по окраинам. С тех пор как перестали освещать дома – улицы совсем исчезли: тихая, черная яма, могильная».

Бессмысленные, физически тяжелые и изнурительные принудительные работы для истощенных голодом, ослабевших, часто больных людей, насильственно выгоняемых из домов, не имеют аналогов в истории:

«Ходят по квартирам, стаскивают с постелей, гонят куда-то на работы. Л. К. взяли из больницы домой, с плевритом. (В больницах 2 градуса.) На лестнице она упала от слабости.

Мороз, мороз непрерывный. Осени вовсе не было. Диму таки взяли в каторжные (“общественные”) работы. Завтра в шесть утра таскать бревна.

И вовсе, оказалось, не бревна!.. Несчастный Дима пришел сегодня домой только в 4 ч. дня, мокрый буквально по колено. Он так истощен, слаб, страшен, – что на него почти нельзя смотреть. (Он занимает очень важный пост в Публичной библиотеке, но более занят дежурством на канале (сторожит дрова на барке), чем работой с книгами. Сторожить дрова – входит в службу.)

Сегодня его гоняли далеко за город, по Ириновской дороге, с партией других каторжан, – рыть окопы!! Погода ужасная, оттепель, грязь, мокрый снег.

После долгих часов в воде тающего снега – толстый, откормленный холуй (бабы его тут же, в глаза, осыпали бесплодными ругательствами: “Ишь, отъелся, морда лопнуть хочет!”) – стал выдавать “арестантам”, с долгими церемониями, по 1 ф. хлеба. Дима принес этот черный, с иглами соломы, фунт хлеба – с собой.

Ассирийское рабство. Да нет, и не ассирийское, и не сибирская каторга, а что-то совсем вне примеров. Для тяжелой ненужной работы сгоняют людей, полураздетых и шатающихся от голода – сгоняют в снег, дождь, холод, тьму... Бывало ли?»

Писательница отмечает и элементарную, вопиющую безграмотность исполнителей декретов и приказов большевистской власти:

«Отмечаю засилие безграмотных. Вчера явившийся властитель-красноармеец требовал на “работы” – 95 рабов и неистово

зашумел, когда ему сказали, что это невозможно, ибо у нас всех жильцов валовых, с грудными детьми – 81.

Не понимал, слушать не хотел, но скандалил даром, ибо против арифметики не пойдешь, из 81 не сделаешь 95-ти. Обещал кары.

Видела Н.И. – из Царского. На минутку в кухне, всю обвешанную, как монашенка. Обещала скоро опять быть, подробно рассказать, как она со своим мальчиком пыталась уйти с отступающими белыми и – вернулась назад.

Боже мой, Боже мой! Ведь эта “человечина” – ведь это и есть опять все то же “китайское мясо”...

Д. С. видел у закованного Гостиного двора священника, протягивающего руку за милостыней».

Установленный режим З.Н. Гиппиус характеризует не иначе, как рабство: целой страны, всего народа, которым оно, установленное в те дни, так и оставалось в разных формах все 74 года, до окончательного падения тирании захватчиков:

«Если будет “мир” с ними... Я поняла, что этого нельзя перенести. И это не простится. Вот точная формула: если в Европе может, в XX в., существовать страна с таким феноменальным, в истории небывалым, всеобщим рабством и Европа этого не понимает или это принимает, – Европа должна провалиться. И туда ей и дорога. Да, рабство. Физическое убийство духа, всякой личности, всего, что отличает человека от животного. Разрушение, обвал всей культуры. Бесчисленные тела белых негров. Да что мне, что я, оборванная, голодная, дрожащая от холода? Что – мне? Это ли страдание? Да я уж и не думаю об этом. Такой вздор, легко переносимый, страшный для слабых, избалованных европейцев. Не для нас. Есть ужас ужаснейший. Тупой ужас потери лица человеческого. И моего лица – и всех, всех кругом... Мы лежим и бормочем, как мертвецы у Достоевского, бессмысленный “бобок... бобок...”

Гроб на салазках. Везут родные. Надо же схоронить. Гроб напрокат. Еще есть?

Бабы, роя рвы в грязи: “А зачем тут окопы-то ефти?” Инструктор равнодушно: “Да тут белые в 30 верстах”.

Индия? Евреи в Египте? Негры в Америке? Сколько веков до Р. Хр.? Кто – мы? Где – мы? Когда – мы?

При свете ночника. Странно, такая слабость, что почти ничего не понимаю. Надо стряхнуть.

Последние дрова. Последний керосин (в ночниках). Есть еще дрова, большие чурки, но некому их распилить и расколоть. Да и пилы нету».

Абсолютное бесправие и тирания над взрослыми сопровождаются растлением и развращением детей, о котором Зинаида Николаевна говорит с особым омерзением:

«Ш-скую выпустили. Держали в трех тюрьмах, с уголовными и проститутками. Оказалось потом, что за то, что у нее есть какой-то двоюродный брат (а она с ним не видится), который хотел перейти финляндскую границу. Мужа ее, арестованного за то же, потеряли в списках.

Кстати, еще о большевистских школах. Это, с известной точки зрения, самое отвратительное из большевистских деяний. Разрушение вперед, изничтожение будущих поколений. Не говоря уже о детских телах (что уж говорить, и так ясно!) – но происходит систематическое внутреннее разлагательство. Детям внушаются беззаконие и принцип “силы как права”. Фактически дети превращены в толпу хулиганов. Разврат в этих школах – такой, что сам Горький плюет и ужасается, я уже писала. Девочки 12–13 лет оказываются беременными или сифилитичками. Ведь бывшие институты и женские гимназии механически, сразу, сливают с мужскими школами и с уличной толпой подростков, всего повидавших – юных хулиганов, – вот общий, первый принцип создания “нормальной” большевистской школы. Никакого “ученья” в этих школах не происходит, да и не может происходить, кроме декоративного, для коммунистов-контролеров, которые налетают и зорко следят: ведется ли школа в коммунистическом духе, поют ли дети “Интернационал” и не висит ли где в углу забытая икона. Насчет ученья – большевики, кажется, и сами понимают, что нельзя учиться 1) без книг, 2) без света, 3) в температуре, в которой замерзают чернила, 4) с распухшими руками и ногами, обернутыми тряпками, 5) с теми жалкими отбросами, которые посылаются раз в день в школу (знаменитое большевистское “питание детей!”), и, наконец, с малым количеством обалделых, беспомощных, качающихся от голода учительниц, понимающих одно: что ничего решительно тут нельзя сделать. Просто – служба; проклятая “советская” служба – или немедленная гибель. Учителей нет совершенно естественно: старые умерли, все более молодые мобилизованы».

Суть большевистской политики, внешней и внутренней, тоже очевидна для писательницы:

«Начинаются “мирные” переговоры с прибалтийскими пуговицами. Пожалуйста, пожалуйста! Знаю, что будет, одного не знаю – сроков, времен. Сроки неподвластны логике. Будет же: большевики с места начнут вертеть перед бедными пуговицами “признанием полной независимости”. Против этой конфетки ни одна современная пуговица устоять не может. Слепнет – и берет конфетку, хотя все зрячие видят, что в руках большевиков эта конфетка с мышьяком. Развязанными руками большевики обработают данную “независимую” пуговицу в “советскую”, о, тоже самостоятельную и независимую! Мало ли у них таких “самостоятельных”, даже помимо несчастной Украины, куда они в сотый раз сажают “независимого” Раковского, перерезав очередную часть населения».

Суть проводимой агитации и пропаганды, которой некому – из-за террора – возразить и которую никто не может – рабы лишены свободы слова – опровергнуть, проста и не имеет ничего общего с реальностью:

«А они и говорят, и очень громко, и очень настойчиво, вот что: у нас – революция; у нас диктатура пролетариата, а коренной наш принцип – правительство рабоче-крестьянское. Мы постепенно вводим в жизнь, воплощаем все идеи научного социализма, мы уничтожили капитал, уничтожаем частную собственность, идем к уничтожению денег. Мы за полное равенство всех. У нас система Советов – совершеннейший из всех выборных институтов. Перевыборы строго совершаются каждые полгода – сам народ управляет страной. Мы за мир всего мира, но так как враги наши не оставляют нас в покое, то для защиты своего социалистического строя народ создал могущественнейшую красную армию и борется за социализм, не жалея крови, терпит голод, нужду, лишения, – только бы не отняли у него “собственного” правительства. С внутренними врагами русский народ – рабочие и крестьяне – борются посредством созданных ими правительственных учреждений – Исполкомы, Че-ка и др. Все враги Советской власти, без исключения, желают отдать фабрики капиталистам, отняв у рабочих, а землю – помещикам, отняв у крестьян. Революция – это мы. Социализм, и как совершеннейшая его точка – коммунизм, – это мы. Рабочие и крестьяне – это мы. Поэтому: кто против нас – тот против революции (контрреволюционер), против социализма (социал-

предатель), против рабочих, крестьян (буржуй – помещик, капиталист).

Вот, в главной черте, то, что говорят большевики в Европе. Говорят упорно и громко. Еще бы не громок был их голос, когда он не заглушается ничьим, когда это единственный голос, идущий из России.

Эту единственность они взяли силой, но главный их принцип, которого они не скрывают, – “сила есть право”. Признает ли Европа, тайно или бессознательно, этот принцип, против которого явно она вела войну с Германией, или просто не думает, не соображает, не разбирается, – пока оставим.

Я веду вот к чему. Я веду к указанию на главные, коренные абсурды – основы нашей действительности. “Через головы европейских правительств”, как все время говорят большевики, мне хотелось бы обратиться к рабочим всего мира, социалистам всего мира с такими утверждениями (ответственными, ибо далее я предлагаю реальную проверку, жизненную).

Я утверждаю, что ничего из того, о чем говорят большевики в Европе, – нет.

Революции – нет.

Диктатуры пролетариата – нет.

Социализма – нет.

Советов, и тех – нет.

Я могла бы здесь последовательно мотивировать каждое “нет”, но это лишнее: разве в листках моего дневника недостаточно доказательств? Да и нужны ли словесные доказательства тем, кто хочет верить лжи?»

Для проверки и опровержения лживости этих утверждений З. Гиппиус предлагает схему, в выполнимости которой сама сомневается: «Нет, я предложила бы иное... (Я знаю, знаю, что это мечты, это мои сказки, которые я сама себе рассказываю, сидя в холодной банке с пауками, сидя безгласно и слепо... Но пусть! Эти сказки все же трезвее действительности.)

Мне хотелось бы предложить рабочим всех стран следующее. Пусть каждая страна выберет двух уполномоченных, двух лиц, честности которых она бы верила (или ни в одной стране не найдется двух абсолютно честных людей?), – и пусть они поедут инкогнито (даже полуинкогнито!) в Россию. Кроме честности нужны, конечно, мужество и бесстрашие, ибо такое дело – подвиг.

Но не хочу я верить, что на целый народ в Европе не хватит двух подвижников!

И пусть они, вернувшись (если вернуться), скажут “всем, всем, всем”: есть ли в России революция? Есть ли диктатура пролетариата? Есть ли сам пролетариат? Есть ли “рабоче-крестьянское” правительство? Есть ли хоть что-нибудь похожее на проведение в жизнь принципов “социализма”? Есть ли Совет, т.е. существует ли в учреждениях, называемых Советами, хоть тень выборного начала?

В громадном “нет”, которым ответят на все эти вопросы честные люди, честные социалисты, вскрыется и коренной, основной абсурд происходящего».

И этот абсурд писательница видит в тотальной лжи, размеры которой опять-таки превосходят все, что когда-либо слышало и, наверное, могло вообразить человечество до тех пор:

«Террор – но ведь революция!

Поголовный набор, принудительный, – но ведь на “Советскую” власть нападают, принуждают воевать!

Голод и разруха – но ведь блокада! Ведь буржуазные правительства не признают “социализма”!

Все нищие – но ведь равенство! (Равенства тоже нет, ибо нигде нет таких богачей, таких миллиардеров, как сейчас в России. Только их десятки – при миллионах нищих.)

Уничтожение науки, искусства, техники, всей культуры вместе с их представителями, интеллигенцией – но ведь диктатура пролетариата! Все это – наука, искусство, техника – должно быть пролетарским, а интеллигенция, кроме того, – контрреволюционеры.

Нет свободы ни слова, ни передвижения, и вообще никаких свобод, все, вплоть до земли, взято “на учет” и в собственность правительства – но ведь это же “рабоче-крестьянское” правительство, и поддержанное всем народом, который дает своих собственных представителей – в Советы!

Да, надо повалить основные абсурды. Разоблачить сплошную, сумасшедшую, основную ложь. Основа, устой, почва, а также главное, беспрерывно действующее оружие большевистского правления – ложь».

Медленное и быстрое убийство ценами, дефицитами всего – одних сопровождается временным нагребленным и наворованным показным благополучием – других:

«26 ноября (10 декабря). Дни оттепели, грязи, тьмы. По улицам не столько ходят, сколько лежат. Итак – вот сегодняшние цены, зима 19–20 гг., декабрь (через полгода: втрое, кое-что вчетверо, большая часть – ни за какие деньги).

Фунт хлеба – 400 р., масла – 2300 р., мяса – 610–650 р., соль – 380 р., коробка спичек – 80 р., свеча – 500 р., мука – 600 р. (мука и хлеб – черные, и почти суррогат). Остальное соответственно.

А в “Доме искусств” – открытие. Были чай, пирожные (всего по сто рублей!), кончилось танцами: Оцуп провальсировал с m-me Ходасевич.

О спекулянтах нашего дома: жирный Алябьев, попавшийся на спирту (8 млн), был на краю смерти: спасся выдачей всех на месте расстрела. Теперь собирается “поднимать” к себе икону Скорбящей, молебен служить.

Другой, Яремич, пока расцветает: сидит уже в барской квартире, по нашей лестнице, обставил себя нашим пианино, часами И.И., чьим-то граммофоном, который непрерывно заводит, – и покровительственно “принимает” Диму».

Предельно жесткое отношение к церкви и священникам – еще одна особенность политики захватчиков, сохранявшаяся практически во все годы нового режима. О священниках и религиозности народа З. Гиппиус пишет с той же предельной откровенностью, которая сделала почти все ее творчество запретным для телесно и духовно поработанного народа: «Священники простецкие, не мудрствующие, – самые героичные. Их-то и расстреливают. Это и будут настоящие православные мученики. Народ? Церкви полны молящихся. Народ дошел до предела отчаяния, отчаяние это слепое и слепо гонит его в церковь. Народ русский никогда не был православным. Никогда не был религиозным сознательно. Он имел данную форму христианства, но о христианстве никогда не думал. Этим объясняется та легкость, с которой каждый, если ему как бы предлагается выход из отчаянного положения – записаться в коммунисты, – тотчас сбрасывает всякую “религиозность”. Отрекается, не почесавшись. (Даже Г. удивлялся.)

Невинность ребенка или идиота. Женщины в особенности. Внешние традиции у многих под шумок хранятся. Так – любят венчаться в церкви. Не жалеют на это денег и очень хитрят. Ну а кому все равно нет выбора, все равно отчаяние и некуда идти, – идут в церковь. Кланяются, крестятся – молятся, в самом деле мо-

лятся, ибо Кому-то, Кого не знают, несут душу, полную темного отчаяния.

Большевики сначала грубо наперли на Церковь (истории с мощами), но теперь, кажется, изменяют тактику. Будут только презирать, чтобы ко времени, если понадобится, и Церковь использовать. Некоторые, поумнее, говорят, что потребность “церковности” будет и должна удовлетворяться “их церковью” – коммунизмом. Это даже по-чертовски глубоко!

Написала – и как-то мне стало противно. Почти невыносимо говорить об этом! Страшно.

23 (10) декабря. Вот что надо не забыть. Вот чего не знают те, которые не сидят с нами, гуляют на свободе. Русские ли они? Я склонна...

Это последняя запись “Серого блокнота”. На другой день, в среду, 24 Декабря 1919 г., совершился наш отъезд из Петербурга с командировками на Г., а затем, в январе 1920 г. – переход польской границы».

Уже тогда подобные дневниковые записи, ведущиеся как бы по инерции со времени свободной исторической России (когда подобная привычка была признаком образованного и мыслящего человека), были смертельно опасны для авторов, о чем Гиппиус также не забывает сказать, приводя не только свой собственный пример, но и историю одного из своих знакомых, подводя тем самым и внешнюю черту под своими текстами: «Мучительные усилия и хлопоты, благодаря которым могли осуществиться наш отъезд из Петербурга, затем побег, – не отражены в записи последних дней по причине весьма понятной. Хотя маленький блокнот не выходил из кармана моей меховой шубки, а шубку я носила почти не снимая, – писать даже и то, что я писала, было безумием, при вечных повальных обысках. У меня физически не подымалась рука упомянуть о нашей последней надежде – надежде на освобождение.

Дневник в Совдепии – не мемуары, не воспоминания “после”, а именно “дневник” – вещь исключительная; не думаю, чтобы их много нашлось в России, после освобождения. Разве комиссарские. Знаю человека, который для писания дневника прибегал к неслыханным ухищрениям, их невозможно рассказать; и не уверена все-таки, сохраняется ли он до сих пор.

Впрочем – нужно ли жалеть? Не сделалась ли жизнь такою, что “дневник”, всякий, – дневник мертвеца, лежащего в могиле?

Я знаю: и теперь, за эти месяцы, в могиле Петербурга ничто не изменилось. Только процесс разложения идет дальше, своим определенным, естественным, известным всем путем. Первая перемена произойдет лишь вслед за единственным событием, которого ждет вся Россия, – свержением большевиков.

Когда?

Не знаю времен и сроков. Боюсь слов. Боюсь предсказаний, но душа моя все-таки на этот страшный вопрос: “Когда”? – отвечает: скоро.

3 октября, 1920 г. Варшава».

Исторически 74 года – может быть, и скоро, но только не в XX в. и не для поколений, которые были децимированы, духовно и телесно поработаны внутренними завоевателями, которые оказались неизмеримо лукавее, коварнее, безжалостнее, кровавее, хуже любого внешнего, – для страны и ее культуры это стало такой национальной катастрофой, которой прежде она не знала...

Список литературы

1. Зинаида Гиппиус. Дневники, воспоминания. Черные тетради (1917–1919). – Режим доступа: <http://gippius.com/doc/memory/chjornye-tetradi.html> (Дата обращения: 12.04.2017.)
2. Зинаида Гиппиус. Дневники. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/gippius_z_n/text_0070.shtml
3. Зинаида Гиппиус. Дневники, воспоминания. Синяя книга. – Режим доступа: <http://gippius.com/doc/memory/sinyaya-kniga.html>

References

1. Zinaida Gippius. Diaries, memories. Black notebook. – Mode of access: <http://gippius.com/doc/memory/chjornye-tetradi.html>
2. Zinaida Gippius. Diaries. – Mode of access: http://az.lib.ru/g/gippius_z_n/text_0070.shtml
3. Zinaida Gippius. Diaries, memories. Blue book. – Mode of access: <http://gippius.com/doc/memory/sinyaya-kniga.html>